

Когда я в прошлом году вернулся из Италии, ко мне в руки попала эта рукопись. Читал я её под впечатлением, которое произвели на меня Помпеи. Уходя из Помпей, я напевал «Вся суѣта человѣческая, елика не пребываютъ по смерти»¹. Удивительно, но этот напев продолжал крутиться в моей голове и после прочтения этой рукописи. Ещё удивительнее, что спутник мой по Италии, мой друг и редактор, когда я прочёл ему эти обрывки, предложил мне выкупить их за альбом с Помпеями. Я согласился на этот обмен, смеясь скверной остроте о моли и лаванде².

ПИСЬМО I

«.....

.....

.....

..... приятное женское общество

Её мать, брат её поручик манов, Попеску, счетовод в министерстве строительства, один немецкий студент, Макс по имени.....

Но ты уже знаешь главных персон этого пансионата, а особенно её. Днём мы заняты всяк своим делом. А на завтрак, обед и ужин собираемся в столовой, где есть пианино и ещё с десятков газет и журналов. Столовая эта в самом деле стала нашей интернациональной территорией. Здесь мы все запросто, как в своей комнате. Кто не занят каким-либо делом, сидит здесь, читает газеты, бренчит на пианино, развлекает шутками Анну, барабанит пальцами по оконному стеклу или просто стоит, прислонившись к печи. И Анна, конечно, тоже всегда здесь – когда с рукоделием, когда с забавой. Туманов с его густым басом и ещё более густыми

..... горда, как

..... Dmol

..... мажет колени нефтью, и когда бы, сирота, утром не пришла с рынка, голосит и при том нам, своим домашним, демонстрирует содержимое корзинки

..... как синичка, а они это называют haut gout³

ПИСЬМО II

..... Думаешь, наверное: кто – что, а я просто ею увлёкся? Нет, брат, ещё во мне стучит порядочное сердце – это я наверняка смею пред тобою утверждать. Что у меня с ней? Я совершенно уверен, что, люби меня она – даже мне срам сказать! – люби меня она, я от того только ещё раньше бежал бы «с поля любви». Разве стал бы я играть с «девичьим сердцем»?

По правде говоря, всегда приятно мне быть с нею – да и, в самом деле, с чего бы мне приятно не было? Но, конечно же, всё это далеко от какого бы то ни было чувства, хотя бы отдалённо похожего на любовь. Вот гляжу на неё иногда со стороны украдкой и думаю: дитя, дитя! А дальше, конечно, ничего. Даже если бы я не был равнодушен к ней (как и она ко мне – а так и есть, ей-богу!) – даже тогда я, тем не менее, остерегался бы всякого шага, который мог бы меня привести к каким-либо заявлениям и соглашениям. Ты понимаешь, что «страдать любовью» – стоять всю ночь во дворе у ворот в ожидании «любовника», а после с ним чмокаться, пока кровь в нос не ударит, не давая никакого отчёта ни себе, ни богу, – всё это не в её лета. Нет, скажу я тебе: она не в тех летах, она любовных сцен не играет, и если ей «значительно» сжать руку – она поймёт это как «выходи за меня». Так что здесь не до шуток. Я ведь через месяц-другой оставлю скамью и вполне встану на ноги; каждый же, пусть и несерьёзный, шаг

в любовь был бы шагом в женитьбу. А ведь ты очень хорошо знаешь, что я на ней жениться не могу. Боже мой! Что бы сказали мои родные, что – друзья? Что, напоследок и главное – ты сам? Во-первых, она не сербка; и некрасива, и сирота. Ну, и её родня: мать-то – бог с ней, но лейтенант! А ты знаешь, что я уже стар для эксцессов. Когда-то я думал, что был бы в состоянии жениться на кухарке, жить с ней на сухую корку хлеба и быть счастливейшим из смертных. Это, наверное, были те годы, что делают человека «умным». Всё прошло. Иначе было бы мне стыдно даже перед цирюльником, что лицо мне намыливает три раза в неделю.

Аман⁴, побратим! Я невольно сочинил прямо какое-то предисловие. Во всём этом виноват Йоца, который, будучи здесь в гостях, нас с нею приметил, а после и тебе всякой чуши нагородил, из чего ты составил целое обвинение, от коего я лишь защищаюсь. Рассказ завершён. Верь! Я по отношению к ней просто галантный господин: аккомпанирую ей на пианино, когда поёт; подам иголку, когда уронит; выброшу дождевик ей на плечи, когда пойдёт на прогулку и т.д. А между тем мирно и спокойно занимаюсь своими делами, и за два-три месяца всё сдам и стану доктором. – Кто со мной?!

Представь, что натворил безумный Никола – сбрил усы и записался в бурши! Я, как старший медик, решил дать ему один урок, после которого он пригрозил вызвать меня на дуэль, а Видак-табачник ему на это влепил пощёчину.

Кто-то стучит в мою дверь.

Анна меня зовёт на ужин.

Твой побратим.

ПИСЬМО III

С неких пор вся наша переписка вращается только вокруг Анны. Я так делаю, наверное, лишь затем, чтобы ты не подумал: «А, вот он замолчал, ничего сейчас о ней не пишет – знаю я, о чём это говорит!» Ты ведь скептик, каких мало. Но теперь-то, по крайней мере, будешь мне верить, что нет ничего – она ещё пять дней назад уехала к своей сестре в Готу⁵. Остались мы одни – и не смей смеяться, когда я тебе скажу, что всем нам как-то грустно. Похоже, лишь она поддерживала связь между нами: сейчас все сидим за столом и молчим – даже слышно, как муха с нами ужинает. А потом Макс скверно острит, на что мы смеёмся лишь по обязанности. С Тумановым мы беседуем, только находясь в своей комнате – он по-немецки говорит тяжело, ибо сей язык ненавидит, а часто переходит на русский в обществе, где никто нас двоих не понимает – ты знаешь, что это слишком «genant⁶».

Наш «Дон Карлос⁷» вечно являет собою ужасную противоположность имени, которое мы ему дали. Всё так же смотрит исподлобья, зачёсывает волосы с затылка на лоб, носит короткие панталоны и огромные туфли. Из кармана у него вечно торчат большие красные платки, в которые он всё время сморкается. У него есть бритва, одна сторона которой сделана специально для мозолей – я это однажды заметил, когда Спалдинг брал у него эту бритву очинить карандаш. Целыми днями он читает газеты – ими у него набиты все карманы. Забе-

рётся на канаве и достаёт одну за одной. Порой наткнётся на что-то важное; тогда, держа газету левой рукою, отодвинет от себя и глядит на неё издали; выдержав паузу, хлопнет по газете правой рукою, посмотрит на того, кто сидит к нему всего ближе, важно кивнёт головой и проворчит: «Naturlich!» или «Nanu», или «Donnerwetter noch einmal⁸». Затем начинает ревностно всё подчёркивать красным карандашом, то и дело сдувая с газеты нюхательный табак, что у него же из носу и сыплется. Вдоволь начеркавшись, заваливается опять на канаве и читает дальше.

Этими его подчёркнутыми газетами старуха потом обычно завязывает кувшины с компотом.

А ещё он непрестанно с великою страстью говорит об их войне с французами, о будущем мире, который будет состоять из одних только немцев, о «мощной немецкой империи» и т.д. и т.д. Нос у него уже покраснел и, только в дверь войдёшь, сразу слышишь, как у него пиво в животе бултыхается – здесь Туманов обычно прошепчет: «Kraftige deutsche Natur!⁹» и плюнет.

Спалдинг такой же, как и прежде. Всем рассказывает, как ненавидит немцев. Бьёт кельнеров, когда те хотят обмануть его на десять пара¹⁰, чтобы после им дать динар бакшиша. Куда бы ни пошёл, таскает с собой немецко-английский словарь, а завтракает татарским бифштексом. Я стараюсь от него выучить как можно больше по-английски, чтобы потом показать ей.

Её брат лейтенант всё так же противен. Он пресчастлив, уверяя нас, что ждёт не дождётся, когда весь этот край снова поднимут на французов: die Hunde haben noch immer die Jacke nicht voll¹¹. А чуть разговор коснётся Сербии, он непрестанно доказывает, что нам нужно поскорее начать с турками – мы их наверняка побьём.

– Эх, имей вы хотя бы один корпус таких, как мы – вы легко бы покончили с Турцией.

Для меня это уже слишком:

– Да знай вы сербское войско и его дела, вы бы стыдились такое говорить!

Тут поднимается Туманов и на сносом немецком начинает рассказывать. Ты знаешь, что он хорошо всё наше изучил – сейчас переводит на русский меуары протопопа Ненадовича¹².

Из тех, что сидят здесь с нами, ты ещё не знаешь двух румын – один гимназист, а другой математик. Вполне хороший и серьёзный человек.

ПИСЬМО IV

Н.....

Ты удивляешься, должно быть, что я замолчал – болен я, или, лучше сказать, был болен. Вот и не писал тебе, чтоб ты не волновался. Сейчас, впрочем, всё хорошо.

Но даже и после столь долгого молчания, тем не менее, нет ничего, о чём я мог бы тебе писать. Последним письмом ты меня уверяешь, что из моих расска-

зов об Анне не выводил никаких заключений и просил только, чтобы я тебе всё подробно писал, что между нами будет – слово «подробно» даже подчёркиваешь дважды.

Хорошо, побратим. Ты не замечаешь, что сам увлекаешь меня в какой-то роман. Теперь и я начал подробно рассматривать каждый её поступок по отношению ко мне. Честно тебе скажу – воистину, это ты виноват, что я начал интересоваться ею больше, чем хотел бы. Всё думаю: ну, что теперь ещё ему написать?

Вот что я тебе насобирал для тонкого письмеца, каковы обычно и бывают все мои письма.

Когда она вернулась из Готы, я только было встал – первый день вышел обещать с ними вместе. До этого я ел в своей комнате, потому что мне претило одеваться.

Она приехала вечером. Слышал я, как весёлые Попеску и Туманов отворили ей дверь и как весь дом словно наполнился весельем. Туманов прибежал ко мне в комнату (уж не знаю, что это ему пришло в голову) и, словно намереваясь как-то меня обрадовать, говорит: «Давайте-ка подымайтесь, приехала Анна!» Тогда и я обулся и вышел в столовую.

Когда я вошёл, она доставала какие-то подарки от сестры для матери.

– А, – говорит она голосом, который меня прямо-таки трогает, – а вы ещё слабы?

– Уже нет, барышня. Но был. А откуда вы знаете? – Она немного смутилась:

– Г-н Туманов мне говорил.

– Да, – говорит Туманов простодушно, как его бог сотворил, – барышня едва порог переступила, так сразу спросила, что вы делаете.

Я посмотрел на неё исподлобья. Она, казалось, ничего больше не слушает, продолжая доставать подарки для матери.

Я сел в углу у печи и смотрел на неё. Уж не знаю – то ли я после болезни так расчувствовался, то ли она была так разрумянена с дороги, но только показалась она мне необыкновенно красивой.

Ничего я больше не говорил. Когда старуха вышла посмотреть ужин, а Попеску – купить табаку, остались мы с нею вдвоём: пока Туманов читал газеты, то и дело спрашивая «Как это по-русски?», она подошла и села возле меня у печи.

– Но теперь-то вы совсем здоровы? – спрашивает она меня как-то испуганно.

– На пути к полному выздоровлению.

– Но вы так бледны!

– Просто я ничего не ел уже восемь дней.

– Слава богу, что всё прошло. Вы не бережёте себя, я это знала. А ещё хороший доктор! – и начала весело смеяться. – Я не смею ничего сделать против ваших указаний, а вы не даёте делать себе замечания. Но теперь я не буду вас слушать!

– Вы? Нет, вы всегда были хорошее дитя. Не хотите же вы теперь перестать считаться таковою, особенно в моих глазах, а, барышня? – и я засмеялся, желая показать, что и не думал замечать столько интереса ко мне с её стороны.

Она мне ничего не ответила. Я опять глянул на неё исподлобья – она не смотрела на меня. Мне вдруг показалось, что я в самом деле задал ей какой-то вопрос, на который она не ответила, хотя меня очень волнует её ответ. Ну, такие случаи мне только дороже: да ещё и какой-то дьявол всё меня подстрекает проверить – так ли уж она беспокоится обо мне, как вы все меня уверяете?

Тем вечером после ужина мы играли в шашки. Играла она очень хорошо. Выиграв первую партию, взглянула на меня остро, и я понял, что это значит «Почему вы не играете всерьёз?»

Вторую партию я старался выиграть; должно быть, потому и заметил её шашку, которую мне надо было бы «съесть». Только собрался было это сделать, как увидел, что её шашка вот-вот станет дамкой; тогда я сам двинул её на крайнее поле и накрыл сверху ещё одной шашкой, как это делается с дамками.

– Вы снова в дамках – сказал я ей.

Она сердито перемешала рукою шашки, оттолкнула от себя доску, подперла ладонью щёку и глядит на пианино, за которым Попеску исполняет валашское поурри.

– Что же вы мешаете фигуры, когда наша партия ещё не завершена?

– Вы надо мною издеваетесь?

– Да бог с вами!

– Тогда отчего ж не играете, пропуская меня к выигрышу?

– Неужели вы думаете, что я таким манером хочу вам выказать какую-то «любовь»? Будьте уверены, вы обманываетесь – я играю, как могу.

Она сменила гнев на милость, но в шашки более играть не хотела. Тогда я пододвинул доску и просто отсчитал себе и ей по девять шашек. Она присоединилась к игре.

Опять она меня била, но по её лицу я видел, что она уверена в том, что я ей не поддаюсь, а играю настолько хорошо, насколько умею.

После трёх партий она опять смешала шашки и отодвинула доску, но не сердито. Смеялась.

– Нет, вы не умеете играть. Вам нужно у меня учиться.

– Каждый урок от вас будет мне дорог, – я выделил голосом «вас».

– Хорошо. Тогда вот вам первый: не смейте лстить.

– Хотите, т.е. сказать: не смейте с этих пор лстить, как до сих пор не льстили?

Она слегка покраснела.

Тут старуха принесла нам мёду и орехов, потом опять вышла. Попеску, погасив свечи на пианино, играл на память увертюру из «Вильгельма Телля» – играл, как мне показалось, красивее, чем когда-либо. Анна между тем взяла в руки какое-то рукоделие. Я лушил орехи и давал ей, она их макала в мёд. Попеску есть не хотел. Он опять начал веберово «Aufforderung zum Tanze¹³».

Я встал и принёс стакан воды. Выпил полстакана.

– Ах, простите, я не принёс и для вас! – Она схватила мой до половины полный стакан.

– Отсюда я пил; подождите, я его помою и потом наполню вам, – и протянул руку за стаканом. Но она, отведя мою руку, резко осушила стакан.

– Но, барышня!

Она выглядела обиженной. Не хотела ничего более говорить. Мы оба молчали. Попеску завершил игру, захлопнул крышку пианино и поднялся:

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! – ответили мы.

Когда мы остались одни, я, подперев ладонью щеку, стал смотреть ей в лицо, но её глаза были направлены на работу в её руках. Она чувствовала, что я смотрю, но ни на миг не оторвала глаз от рукоделия.

– Барышня, этот палец – мой больной (когда-то она его ошпарила кипятком и я сам ей смазывал вскочивший пузырь раствором нитрата серебра), а потому я имею право в любое время посмотреть, как он себя чувствует. Будьте любезны, дайте сюда руку.

Я схватил её за руку и начал осматривать палец, который давно, ещё до её поездки в Готу, был совершенно залечен.

Она не отнимала руки, но выглядела серьёзнее, чем бы мне хотелось.

Вот удобная возможность осмотреть и её «сердце», подумалось мне.

– Барышня, подарите мне этот палец. – Она глядела на него, не отрываясь, а на мой вопрос помотала головой в знак, что не подарит.

– Неужели даже одного-единственного пальца мне не подарите? Что ж, я и не надеялся. – Чёрт его знает почему, но я это говорил с большим чувством и в действительности ощутил, что мне больно от её холодности.

– А что вы с ним делаете?

– Вы мне его только подарите, а я уж буду знать, что с ним делать.

Она натужно засмеялась:

– Ежели хотите его отсечь, то вот он.

– Помилуйте, ничего подобного. Просто, чтобы я знал, что он мой, а?

Она одобрительно кивнула головой.

Я взял её пальчик и начал его ласкать. Лишь какую-то минуту держал я его в своей руке; потом она его очень осторожно, словно не зная, что делает, извлекла и продолжила вязанье.

Минут через пять я достал часы.

– Уже одиннадцать. Вы знаете, – сказал я, как бы в шутку, – что я болен, и тем не менее ничего не делаете, чтобы отправить меня лечь. А я смешон, что и сам не иду, только вам досаждаю всякою безделицей. Я знаю, что для вас долгоденствие, когда вы со мною.

– А вы и идите, коли знаете.

Показалось мне, что это означает: не заставляйте меня вам сказать, что я люблю вас. Но я, тем не менее, поднимаюсь уйти:

– Доброй ночи! Дайте мне, по крайней мере, руку.

Не глядя, ответила «спокойной ночи», но руки мне не подала.

– Барышня, я того не заслужил. Э-э-э... Ну, спокойной ночи!

Вошёл я в свою комнату. Не знаю отчего, но чувствовал себя обиженным.

Ах, нет смысла увлекаться, подумал. Нужно оставить это дело. Нет здесь того, что я думал, да напоследок и не нужно. А что я мог и думать? Да меня

.....
.....
Вот ведь вздор... Целый вечер я провёл с нею, когда работы полным-полно. Лучше б я что умное делал, чем пялиться в её глаза. Чего я этим добивался?

После сам вскипятил себе чаю и работал до трёх часов пополуночи, чтобы наверстать упущенное.

Когда лёг в кровать, вышла она у меня из головы.

Дальше, дальше от меня! У меня свои дела! Я серб, у меня старая мать, у меня свои задачи – да разве кто-нибудь мне помешает?!

Побратим, повесть окончена. Ты ничего больше и не ожидал. Ты меня знаешь. Твой верный

Побратим.

ПИСЬМО V

Уж не знаю, каким путём ты в своём последнем письме пришёл к заключению: «Вы друг друга взаимно любите. Вот как поцелуетесь – сами увидите, что я не обманываюсь». Ты не знаешь, что приводишь меня таким образом к удивительным мыслям. Ведь заключение твоё правдиво – я и после моего последнего письма не перестал «увлекаться ею», как ты мне было советовал и что сам я думал предпринять.

Мне опять есть в чём перед тобой извиниться – снова я с нею «завёлся». Я тебе рассказывал, как я ушёл из комнаты, а она мне руки не подала.

Назавтра я вхожу в комнату совсем серьёзным (обычно, как ты уже знаешь, всё это происходит в шутках и смехе) и завтракаю. Не было никого, но мы, тем не менее, друг с другом не разговаривали. Я, допив кофе, сразу же ухожу.

– Прощайте.

– Прощайте.

Она не спрашивала меня – ни куда же я так рано, ни как иначе.

В два я пришёл на обед.

Она уже оттаяла и казалась мне необычно милой.

За обедом я нечаянно толкнул её локтем.

– Mille pardons^{14!} – рыцарски кланяюсь.

Она мотает головой: нет пардона.

В наказание я ещё раз её толкаю локтем.

Она делает какое-то по-детски важное лицо и смотрит на меня протестующе: чего вы дерётесь?

Другие были заняты каким-то разговором. Я чокнулся своим стаканом об её стакан и шепчу ей:

– Будьте здоровы!

Она кивает головой.

Так мы помирились. Но не обманываюсь ли я, или она и в самом деле радуется?

После обеда она садится у окна и перелистывает «L'histoire d'un paysan – Erckmann-Chatrian»¹⁵. Я встал над нею.

– Хорошая погода, – сказал я, сдерживая смех.

Она надула губы – сущее дитя:

– Ах вы, задира!

– Нечего больше о том говорить. Дайте руку. Теперь мы помирились.

Она, отведя глаза к окну, подала мне руку. Я её крепко пожал.

Дон Карлос, которому в тот момент служанка принесла бутылку пива, раскашлялся что-то уж слишком громко. Я нагнулся над книгой и рассматривал иллюстрации.

– Медведь, – прошептала она в ответ на карлосов кашель.

Мне вдруг стало необычно приятно: до сих пор она никогда в моём присутствии ничего не говорила против кого бы то ни было из обитателей нашего дома.

– Слушайте, барышня, а давайте заключим договор, что никто из нас не станет ни из-за чего сердиться?

– Это вы сердитесь, а я никогда и не сержусь.

– Кто знает? Так согласны ли вы на моё предложение?

Она взмахнула рукой, чтобы ударить по моей руке, но вместо этого тихонько опустила её сверху вниз на мою ладонь и немного притиснула.

– Согласна!

Я не знаю, почему я так тому обрадовался. Мне казалось, что у нас с нею завязался какой-то контракт приятельства.

Потом пододвигаю свой стул к ней и начинаю дальше перелистывать Erckmann-Chatrian-a.

Нахожу картинку с двумя обнявшимися.

– Нравится ли вам это?

Она надула губы.

Опять нахожу картинку того же смысла.

– А это?

Она на меня смотрит так остро и серьёзно, что у меня прошло всякое желание шутить дальше, а вопросы мои показались жуткой безвкусицей.

Как ни в чём не бывало, продолжаю дальше, нахожу Marseillaise-y¹⁶.

– А это вам нравится?

Она смотрит на картину какую-то секунду, потом совсем наивно отвечает:

– Я не знаю, что здесь человеку может нравиться. Особенно в вашей книге. Может быть, это какое-то le plus apre lettre! . Не всякому человеку дано такую мазню понять. Всё так заляпано, что едва распознаётся. Ничего не годится, ничего.

Начинает весело смеяться, словно понарошку задирает меня:

– Давайте, уносите вашу книгу! Вроде бы картины, а выглядят так, как будто их наша кухарка половником рисовала.

Я крепко держал раскрытую книгу, она же пыталась её закрыть.

– О, вы думаете, что сможете закрыть её силой? Вы обманываетесь.

Она давит ещё сильнее. Я вдруг перестал сопротивляться и книга, захлоп-

нувшись, слегка прищемила ей палец. Я тут же сжал обе корки, не давая ей его вынуть. В конце концов она его всё-таки извлекла, слегка ободрав кожу, в то же время вырвав из книги кусочек листа.

– Ах, простите! – сказали мы оба в один голос. Она – что мне порвала лист, а я – что ей поранил палец.

– Пожалуйста, – сказал я. – Хотя здесь единственно лишь я имею право просить прощения, тем не менее, я этим правом пренебрегу, потому что между нами заключён контракт: раз мы не сердимся, то и пардона не требуем.

– Могла бы доказать, что имею на то большее право, чем вы! Но, поскольку это право на нашем международном, т.е. сербско-немецком конгрессе отменено, то и я им не воспользуюсь. Таким образом, я категорично не требую пардона. – И начинает весело смеяться.

Если бы в комнате не было Дон Карлоса – не знаю, что бы я ей сказал, настолько хороша она мне показалась.

Пробило 4 часа.

– Теперь мне нужно идти. Должен лишь вам сказать, что вы ещё покаетесь, что заключили со мной такой договор, потому что... Счастливо оставаться! Теперь, наверно, вы дадите мне руку – потому что, если не дадите, мне не останется иного утешения, как только что сердиться.

Она протягивает мне руку и смеётся.

Ах, побратим, знаешь ли ты, какая у неё ручка?

С той поры были сотни таких пустяков. Я тебе их не рассказываю – на что? Resume¹⁸ таково, что мы с ней приятели. О, что она мне только не рассказывала! Я же во всех тех разговорах обнаруживал всё новые и новые её свойства, которые меня настолько привлекали, что и не знаю, был ли я вполне искренен, когда говорил тебе, что не влюблён (sit venia verbo!¹⁹)

Ну, на что мне всё это? Игра, безумная игра! Я всё меньше работаю и всё больше увлекаюсь ею. Всё пошло бог знает как.

Но я ещё не настолько увяз, что не смогу вырваться. И, с другой стороны, не для меня эти дела и уж последний срок подходит, когда можно их бросить. И, коли я того не сделаю, так не буду твой

Побратим.

ПИСЬМО VI

Начинал я тебе, душа моя, до сего дня писем двадцать, да все порвал. Уж два месяца прошло с моего последнего письма. Ты писал, просил, словно звал на помощь – а я тебе, тем не менее, ничего не отвечал. Стыдно мне было бы признать, что ошибся в своей искренности, когда бы не всё тебе рассказывал; а, опять же, рассказывать тебе всё – так мне тяжело, так тяжело!

Я слабее и ниже червя. Ведь я тебя всё время уверял, что прекращу с ней всё, а тем не менее... Но начну лучше с начала.

Всё тебе расскажу. Поделю на главы. Каждой главе дам девиз. Разовью всю свою музу. Так будет смешнее. А ты, прошу тебя – смейся! Смейся от всего серд-

ца, как я бы от всего сердца заплакал, чтобы мне стыдно не было впрягать в свои дела уважаемого человека.

Я сказал, что хочу начать с того момента, где я остановился.

Глава I

Ищи дьявола со свечой

С некоторых пор она работает каждую ночь до двенадцать и дольше, потому что готовит подарки на Рождество – ты знаешь, что у них на Рождество все друг другу что-то дарят. Я обычно сажусь с книгою рядом с ней, потому что моя комната никак не может хорошо протопиться.

Было это неделю назад. Приближалась полночь, и вампиры ждали, чтобы минутная стрелка часов сдвинулась на одно деление, а с нею бы сдвинулись и крышки с их гробов. Бледной луны не было. (Жаль! Ведь ты и сам мог бы всю остальную сцену придумать в отношении лунного света). Вокруг всё спало, только мы с нею сидели в комнате.

Она работала. Я же смотрел в книгу и думал о ней.

На одном окне белел спущенный roulette²⁰, другое не было занавешено.

Я поднимаюсь, чтобы начать разговор:

– Хорошо бы и на втором окне опустить занавеску, а?

Говорим мы очень тихо, не знаю почему; а мне всё равно кажется, что голос мой звучит слишком громко.

Она кивает головой.

Я подошёл к окну и посмотрел на неё со стороны. Боже!

Она это заметила. Бросила на меня один-два взгляда, ничего не говоря.

Я прислонился головой к окну. Лёд с палец толщиной покрывал его стёкла, от чего свет уличных фонарей на них причудливо плясал, выстраиваясь в бессмысленные длинные звездчатые узоры, составленные из осей ледяных кристаллов.

Долго я смотрел на эту, как сам понимаешь, безумную картину из пятен света, меняющуюся всякий раз, как только сухой ветер на улице заиграется с пламенем фонаря.

Думал о чём-то – и сам не знаю о чём. А во всякую думу поневоле вплетал и её. Пришло мне в голову, как можно добиться, чтобы окно пропустило к нам внешний свет – нужно всего лишь растопить лёд, и луч упал бы на потолок нашей комнаты. Как видишь, гениальная мысль.

Она сидела за столом и вышивала какую-то подушку.

На улице загромыхала пожарная линейка. Её факелы добавляют ещё больше пятен света на заледеневшем окне. Несколько раз ударяет колокол. Грохот теряется вдали и снова всё тихо.

– Пожар! – говорит она.

– Пожар! – отвечаю я.

Мы снова замолкаем. Я слышу, как в боковой комнате глубоко дышит Турманов; потом слышу, как она втыкает иглу в подушку и как шерстяная нить шуршит о tulle anglais²¹.

Сажусь на стул к ней поближе и так прислоняю голову к её вышивке, что она не может больше проткнуть её иглой.

Она опускает вышивку на колени и опирается на руку.

Я беру эту её руку, опускаю её на стол и ласкаю. После кладу на неё голову и закрываю глаза. Она ничего не говорила, не сопротивлялась. Я чувствую, что весь горю и что она тоже тяжело дышит. Опомнился, подобрался. Несчастный, что ты делаешь?

Резко соскочив со стула, сую руки в карманы. Сейчас было бы правильным начать какой-нибудь беспредметный разговор. Я достаю кисет.

– Примите в подарок, – говорю я как-то хрипло и пытаюсь засмеяться.

– Нет, – говорит она.

Нечистый опять меня подстрекает:

– Разве вы не хотите принять от меня подарок?

Она отмалчивается. Я намираю:

– Подарок от меня, барышня!

– Такой! – говорит она как-то смущённо, снова берясь за вышивку.

– Да какой хотите! А какой вы хотите?

Она опять молчала. Я почти шептал:

– Скажите, какой хотите!

Ничего не отвечает.

– Барышня, это значит, что вы какой-либо другой подарок всё же хотели бы получить от меня; вы не хотите только мой кисет. Скажите, так ли это?

Я опять сажусь к ней и приближаюсь всё ближе и ближе.

– Нет, – говорит она.

– Вы не хотите сказать. Но вы должны!

– Никогда!

– Но я знаю, что с вами.

– Вы никак не можете знать, что со мной.

– Дайте parole d'honneur²², что не знаю.

Она смущается:

– Я думаю, что вы не знаете.

– Parole d'honneur, вы думаете, что я не знаю?

Она вся краснеет.

– Оставьте это.

Мне вдруг кажется, что я исчезаю. Она уже тыкала иглой безо всякого порядка. Казалось, вот сейчас схвачу её за руку, сейчас поцелую её тысячу раз, да и умру. Волна страсти (*sit venia verbo*) всё сильнее сдавливает мне грудь. Я наклоняюсь к ней. И то же мгновение в моём мозгу сверкают, словно молнии: швабка... сирота... моя мать... Сербия... Я вскакиваю и, не доверяя своему голосу, без прощанья и без задержки иду к себе в комнату.

Был уже час пополуночи. Слышу, как и она уходит в свою комнату и осторожно закрывает дверь.

Этой ночью я ни о чём не думал – по крайней мере, я не знаю, о чём я думал. Тем не менее, я не заснул до трех часов. «Она хочет сердце» – вот что непрестанно являлось у меня перед глазами.

На завтрашний день была она серьезнее обычного. Я и сам осторожно уклонился от всякого предметного разговора.

В тот день она была причёсана, как я люблю – а это просто разделённые прямым пробором волосы, собранные сзади в узел. Так и мои сёстры причёсывают своих детей; может быть, от того ей это так идёт, что мы, даже в свои лета, выглядим, в сущности, как дети.

В тот день она делала всё, что я просил. Даже пела мне те песни, которые обычно ни в какую петь не хотела, потому что они идут до «g», а голос её чист только до «eis». Ну, по крайней мере, в этот раз голос её не подвёл.

Вечером зову её на прогулку. Снега навалило с ладонь, и он скрипит у нас под ногами. Все входы в лавки ярко освещены и переполнены всевозможными «рождественскими подарками». Проходят люди – их полным-полно; повозки в такой толпе едва ползут; перед Hiller-овой кондитерской толпится всякий сброд и разглядывает разные фигурки из сахара; перед Spiller-овым рестораном транспарант, а на нём написано: *Eisbahn bei brillanter Beleuchtung, Entrée separee*²³; толкаются дети и люди с чурками для игры в «чижик». Мимо нас то и дело пробегают ребяташки – кто с колотушками в руках, кто с бумажными человечками, которые, если их потянуть, шевелят руками и ногами и кивают головой. Газетчики с висящими на шее ящиками выкрикивают только им собственными голосами: *Montagszeitung, Abendpost, Figa-Figa-Figaro!* Один нищий, что ползал на коленях, протянул нам руку; она достала пять грошей и подала ему. Перед домом для концертов, хотя и была уже четверть восьмого, останавливается господская карета. Кучер соскакивает со своего сиденья и отворяет дверь. С другой стороны из кареты выскакивает молодой человек в белых перчатках, обходит карету и протягивает к двери руку. На эту руку сперва опускается белая перчатка, за ней появляется дама и легко спрыгивает на землю. Трясёт головой и закладывает волосы за уши.

Мы поневоле ждали, пока они перейдут через тротуар. Потом пошли дальше.

– Барышня, здесь столько света, что просто невозможно идти. Давайте лучше пойдём по меньшей улице.

Она молча идёт за мной на Janhsstrasse. Я опять взял влево через Brigadier-Brücke, и мы оказались перед огромным парком, которым уже полностью владела ночь, поскольку только главные аллеи там бывают освещены. Я пошёл ещё дальше, не говоря ей ничего; мы уже были на несколько шагов в лесу. Ноги наши по щиколотку утопали в рыхлом снегу; огромные дубы с наветренной стороны белели от нанесённого снега. Погода стояла сухая, на термометре в тот день было минус десять, мне не было холодно, напротив, было мне очень приятно.

Минут через пять мы были уже довольно глубоко в лесу. Вокруг нас было так тихо – шум городка здесь совсем потерялся, а вокруг никого не было.

Мы ничего не говорили. Я думал о ней, плетя всевозможные фантазии.

Представил себе моё Вальево²⁴, и её в нём, и окружающих, что говорят о нас, когда проходим по улице: «Посмотри-ка на него, вскружила ему голову немка!»; представил мою мать, с красными глазами, которая свою собственную сноху не понимает; детей моих сестёр и братьев, которые стесняются приходить ко мне с тех пор, как я привёл её в дом; представил и её вечное ощущение одиночества: ведь и её здесь никто не понимает, и она никого не понимает... Нет, надобно всё же проститься с нею, надобно её оставить навсегда.

Она вдруг останавливается и напряжённо глядит вперёд в темноту.

– Может, вернёмся? – говорит она.

Я посмотрел на неё. На её голову был наброшен чёрный шёлковый шарф: концы его, перекрещиваясь у горла, были заброшены за спину. Из того шарфа лицо её выглядывало, словно из какой-то чёрной рамки – и смотрелось это необычайно красиво.

– Вернёмся? – спрашиваю я. – А что?

Она пожала плечами.

– Вы боитесь идти дальше в пустой лес?

Она бросает взгляд на меня. Взгляд, в котором было что-то такое, чего тебе и сказать не сумею. Какая-то надёжность, доверие, сила. Этот взгляд пронизал меня насквозь. Будто смотрит она через прозрачную пирамиду, и пирамида эта – я.

– Чего же мне бояться, когда я иду с вами? – говорит она с каким-то детским равнодушием. – Ведь вы такой сильный!

– И не нужно бояться, – сказал я голосом, который должен был казаться сильным и надёжным, но прозвучал как-то хрипло и глухо.

В этот миг ветер дунул посильнее и с какой-то сухой ветки осыпался снег прямо на её суконный рукав.

Я достал платок и начал отряхивать с неё снег.

Она смотрела на всё это каким-то равнодушным взглядом. Когда я закончил, она слегка поклонилась:

– Спасибо!

– Пустяки.

Мы опять замолчали. Она, ничего не говоря, повернулась кругом и пошла обратно.

– Вам холодно? – спросил я.

– Нет.

– Вам дурно?

Она пожала плечами.

– Да?

– Да, – говорит она.

– А что с вами?

Она опять пожимает плечами.

Я не решился расспрашивать её далее.

По пути я начал рассказывать ей всё, что мог – какие-то ни к чему не относящиеся вещи, только бы мне не дойти до того, чего я так боялся; от того было мне одновременно так мило, так приятно и так страшно. В сотый раз рассказывал я

ей о гайдуде Велько, о Райиче²⁵, подробно о стихах; потом спрашивал, помнит ли она те стихи, что я ей переводил раньше. Она отвечала как-то лениво, но, тем не менее, точно. Затем я рассказывал ей про Вальево: о его крошечных домиках, о воловьих повозках, в которых нет железа ни на грош, о его цыганах – о тех, что играют и поют, и о тех, что за десять пара позволяют отвалить им оплеуху. В конце вспомнил кое-какие остроты о баначанах²⁶. До некоторых пор я занимал её кое-как. Но, когда мы вошли в город, мне уже это не удавалось, как я ни старался. С другой стороны, шум города и грохот экипажей толком и не давали говорить. Я умолк.

Когда до дома оставалось совсем немного, мы пошли по Albrechtsstrasse. Ты знаешь, как там тихо.

Я, сам не знаю почему, отодвинулся от неё:

– Ещё какой-то шаг, и вы избавитесь от моего скучного общества.

Она сердито-печально раздвинула края губ:

– На это я ничего не отвечу.

Я захотел перевести всё в шутку. Начал сквозь натянутый смех:

– Помилуйте, вы на это и не можете ничего ответить.

– Нет, я просто не хочу вам льстить.

– Вот теперь вы точно выразились: не хотите льстить. А, скажи вы правду, она ничуть не была бы льстива для меня.

Я не мог больше насмехаться.

Она отвернула лицо от меня.

– Я... Я... – начинает она приглушённо и замолкает.

У меня помрачается рассудок. Ну, не дурак ли я? – спрашиваю себя. – Куда я вляпался?

Мы уже оказались у самого дома и молча подошли к нему. Она поскользнулась и потеряла равновесие, я подхватил её под локоть:

– Барышня, прошу вас, возьмите меня под руку, здесь скользко.

– Спасибо вам, – говорит она, однако под руку меня не берёт.

Мы снова идём в конец улицы, затем опять подходим к дому. Вернувшись уже в третий раз (ты знаешь, что они здесь на целый день запирают ворота), она остановилась:

– У вас ключ с собой?

Я отпираю ворота. Она входит во двор как-то медленно и неуклюже. Под лестницей отряхивает ноги на циновке, и это тоже делает как-то неповоротливо. Была она очень бледна.

– Барышня, вам всерьёз дурно?

Она кивает головой.

– Ну, скажите мне, что с вами?

– Не знаю, – говорит она.

– Дайте мне, по крайней мере, руку, я помогу вам подняться. – Она подаёт руку. Я веду её вверх, идя на три ступеньки впереди. Смотрю на неё и крепко держу её за руку. Так мы поднялись уже до половины лестницы.

Тут она закачалась и прислонилась к стене. Бледна была, как тот снег, по которому мы недавно ходили. Из глаз её брызнули слёзы.

– Боже! – шепчет она каким-то не своим голосом: таким, наверное, утопленники говорят.

В этот миг на ступенях послышались чьи-то шаги.

Не говоря ничего, я поднимаюсь дальше и тащу её за собой. Мимо нас проходит человек, снимает шапку и кланяется.

– А, это вы, Герман, – говорит она, вся подобрившись. – Что делает барышня Ведель?

– Я только сейчас проводил барышню к вам, – говорит слуга, учтиво улыбаясь. Опять кланяется и уходит вниз по ступеням.

Я стоял уже на верхней ступени, она – на три ниже. Достала платок и сморкается. Я вижу, как она, полностью закрыв платком лицо, промокнула глаза двумя пальцами.

Сознание меня покидает. Я уже было привлёк её, чтобы прижать к груди. Но тут щёлкнул замок и её мать появляется в дверях.

Она потянула было свою руку из моей, но я её держу крепко.

– Да поднимайтесь же! – воскликнул я, смеясь. – Как вам не стыдно! В ваши годы и не можете взять двадцать ступенек!

Присутствие старухи настолько мне добавило уверенности, что я уже серьёз начал смеяться и шутить. Тяну её за руку и вытягиваю на верхнюю ступеньку.

Старуха весело смеётся. Она ничего не заметила, да и не могла ничего заметить.

Иду в свою комнату, сбрасываю зимнее пальто и вхожу в столовую.

Меня представили барышне Ведель. Эта образованная девушка хорошо играла на пианино, говорила по-французски и по-английски. Её отец, профессор университета, желая воспитать своё дитя, не жалел на то ни труда, ни денег.

Анна очень мало ела за ужином. Всё молчала да печалилась, что ей нехорошо.

Я же старался развлекать барышню Ведель.

После недолгого разговора она сделала мне комплимент, как хорошо я говорю по-немецки.

– Простите, но должен ваш комплимент понимать как укор, ибо мало найдётся моих земляков, которые бы за пять лет говорили столь же скверно, как я.

– Помилуйте, вы слишком скромны. Я вас уверяю, что человек должен быть очень внимателен, чтобы только по акценту заметить, что вы иностранец. В остальном же вас легко понимать. Видимо, потому что ваш язык очень сходен с нашим, – говорит она.

– Простите, барышня, что должен вам перечить. Но сербский язык не имеет абсолютно никакого сходства с немецким.

Я посмотрел на Анну. Она покраснела.

– Ну что ты, Клара! – говорит она, обращаясь к барышне Ведель, – как ты можешь такое говорить! Сербы – славяне.

– Ах, так! Пожалуйста, простите, – извиняется барышня, – я знаю, теперь припоминаю. Ваш язык сродни венгерскому?

Анна вмешивается, не давая мне ответить.

– Клара, Клара, – говорит она, усиленно смеясь. – Разве венгры славяне? Это всё равно, как если б кто утверждал, что наш язык сродни персидскому.

Барышня Ведель была красна, как паприка.

Я ничуть не сердился. Ты знаешь, что серб за рубежом, а особенно в классической Германии, должен свыкнуться с такими вопросами. Немецкие студенты (классически образованные – по-латыни и на греческом говорили, как на родном) столько раз спрашивали нас, не находится ли Сербия в Малой Азии; весьма удивлялись, когда мы им говорили, что и мы пьём коровье молоко, что так же месим хлеб, что у нас есть даже театры и что мы христиане.

– Надеюсь, вы не примете во зло, – говорит барышня Ведель, – что я так слаба в географии.

– В географии! – шепчет Анна насмешливо.

– О, ну что вы! – отвечаю я, кланяясь.

Анне очевидно досадно и неприятно. Она сама стыдится. Чтобы прервать паузу, а, во-вторых, чтобы перевести внимание на что-либо другое, встаёт и зажигает свечу на пианино:

– Клара, сыграй что-нибудь!

И барышне Ведель эта возможность пришлась как нельзя кстати. Она сразу же вскочила и начала играть. Я не слушал игры, думая о нашем разговоре, а потом и вовсе отошёл мыслями на родину. Вошёл сперва в своё Вальево, а далее и в свой домик. Там всё было так тихо, так приятно. Вот моя мать, просто одетая – она по-старушечьи смеётся. А вот и я с ней, мои сёстры, мои братья, их дети. Вот мои будущие больные – все в грубых плащах, каждый с распахнутой волосатой грудью. Вот низкие чистые комнаты, а вот и худой конёк и простая повозка – экипаж «господин-доктора». Перед Чуковой механой²⁷ сидит Йо-ва-тамбураш²⁸ с его глухим голосом и песней, от которой, пожалуй, только серб и растает. А вот и пьяный Джоза, который меня, когда я на каникулах был дома, сто раз уверял, что, хоть он и пьян, «но тебе, господин, честь и уважение» – и с размаху бросал шапку в грязь. Вот ореховое дерево у меня во дворе – его посадили, когда я родился, а сейчас у него уже сухие ветки по всей периферии. А вот и господин начальник – ему по большим праздникам положено наносить всем визиты, а с собой он всегда водит Тийосава-стражника во всей амуниции. Вот и сам Тийосав: в правой руке он держит кизилую палку, на которую опирается, а левой размахивает, отводя её на целый аршин от себя, потому что иначе ему мешают ятаган. А вот Никола Джеро, который то и дело приходит к нам и спрашивает, не нужно ли чего для дома. Моя мать уже знает, что это значит, и слуга сразу подбегает с поллитровкой ракии, чтобы дать её дяде Николе.

А затем в эти свои мысли о родной сторонке я ввожу Анну – и вся картина словно бы темнеет. Люди на меня глядят, как на иностранца. У матери моей исчезает с губ улыбка. Племянники мои сторонятся своего дяди. Я же смотрю только на неё. И вижу, как ей здесь грустно и холодно.

Нет, никоим образом не были бы мы с нею счастливы.

Барышня Ведель, между тем, закончила играть. Я сделал ей несколько обычных комплиментов.

– А есть ли в вашей стране пианино? – спрашивает она меня.

– Конечно, есть, – говорю я без какого-либо желания продолжать разговор.

– Опять глупый вопрос, – вздыхает она. – А играете ли вы на чём-нибудь, если смею спросить?

Чёрт его знает, чего меня понесло. Я отвечаю:

– На варгане, барышня. – Она немного смутилась:

– Простите, я не знаю, что такое вар... пожалуйста, как вы сказали?

– Варган, – повторил я ей.

Туманов тихонько прыснул.

– Это флейта, – вмешалась Анна. – Г-н Маричич замечательно играет на флейте, – и бросила на меня полный мольбы взгляд.

Я её понял и постыдился, что, разговаривая с «дамой», зачем-то безо всякой причины стал отвечать назло. Чтобы исправить положение, я сделал вполне серьёзное лицо.

– Да, флейта, – говорю. – Не совсем флейта, но очень похоже. Она такая, как кларнет, хотя ближе к фаготу.

Очень уж неуклюже я вывернулся, от чего было мне не по себе. Да и на барышником лице показалось что-то похожее на обиду и подозрение.

Чувствовал я себя виноватым. Чтобы погасить в ней и малейшее подозрение в том, что я только издеваюсь, говорю:

– Если позволите, я сыграю вам что-нибудь, – и вскочил пойти, но прежде незаметно дважды пнул ногою Туманова.

Анна глядит на меня испуганно. Туманов меня понял:

– Ваш инструмент унёс ваш земляк, что сегодня заходил. Я забыл вам сказать.

– Жаль, – говорит барышня Ведель, совсем успокоившись.

– О, вы немного потеряли! Когда я опять буду иметь честь находиться в вашем обществе, вы позволите мне вас убедить, насколько я плохой исполнитель.

– Я заранее уверена, что ваша игра доставит нам наслаждение.

Анна быстро начинает какой-то другой разговор. Я меж тем поднимаюсь и прощаюсь. Анна выходит за мной.

– Вы дурной человек, – говорит она мне в коридоре.

Я ей протягиваю руку, она её берёт.

– А вы хорошая девушка, – отвечаю ей. – Спокойной ночи!

Той ночью я писал матери, сёстрам, братьям и начал это письмо тебе.

Был я усталым, поэтому лёг в 11. Когда меня уже охватывал сон и неясные сонные картины начали мелькать перед глазами, явилась мне и она в своём чёрном шарфе. В этот же миг колесо какой-то повозки едва не проехало мне по ноге. Я дёрнул ногою и стукнулся головой об изголовье кровати.

Разбился мой сон. Постоянно она возникала у меня перед закрытыми глазами во всех возможных обличиях. Опять я ходил с ней по Вальеву, и было мне необычайно грустно.

Не знаю, сколько это длилось. В коридоре щёлкнул замок, и я услышал максовы неуверенные шаги и приглушённый кашель.

Должно быть, уже три, потому что сегодня суббота, а Макс по субботам всегда допоздна заседает со студентами своего корпуса в – ой корчме.

И снова чередуются картины передо мной. Опять она и чёрный шарф вокруг лица... Ну же, только один поцелуй! Но тогда – тогда я буду должен жениться на ней!..

Не знаю как, но опять я с нею в том же лесу. Было вроде бы лето. Мы шли через какой-то орешник и она зачем-то собирала в передник те внешние скорлупки, что опадают, когда орех созреет. Были сумерки. Солнце заходило за Гучево. Некоторое время она вела за руку младшего сына моей сестры, а он что-то говорил нам по-немецки – я не знаю, что. После ребёнка исчез.

Что-то мы как будто говорили – ничего больше не вспоминается.

Я в левой руке нёс одну черепицу с крыши моей дачи, а на ней штукатуркой было выведено её имя.

У неё был всё тот же чёрный шарф на голове. Я не отрываясь смотрел ей в глаза. Была она красива, как фея.

Я не знаю, когда я научил её сербскому, но она со мной говорила по-сербски, и я с нею тоже.

Потом мы уселись на траву под орехом. Она была печальна.

– Почему ты грустна? – спросил я.

Она прижала палец к своим губам в знак, чтобы я молчал. Откуда-то к нам доносились звуки фюгата. Печальная мелодия лилась волнами, и я ощущал, как те волны нас тревожат и мы словно шагаем по ним всё дальше, дальше...

Я обхватил её вокруг пояса. Прижимал её всё ближе, потом припечатал поцелуй в её левый слепой глаз.

Она стала ещё печальнее.

– Ты женишься на мне? – спрашивает она, а слёзы у неё бегут по щекам.

Я сжал её ещё сильнее и начал яростно целовать. Каждую чёрточку лица, а потом и руки – каждый палец и каждый ноготь. Я не радовался: напротив, было мне как-то грустно и сладко.

Потом я заметил тебя. Ты был в надвинутой на глаза меховой шапке. Ты курил и, страшно нахмурившись, прошёл совсем рядом с нами. Даже не поздоровался.

Я же распахнул её чёрный шарф и спрятал в нём от тебя её лицо.

Итак, вот всё и закончилось: у меня есть женщина, которая меня любит.

Но как же – моя мать, мой побратим, моя страна?

Я вдруг понимаю, что оставлен я светом, что сам плюнул на всё, что до сих пор любил. И стою один-одинёшенек, только её держу в объятиях. Я разрыдался, хотя перестал плакать из гордости ещё с 15 лет. Слёзы струились по моей груди, и я чувствовал, что мне от них тепло.

Тут послышался чей-то тяжёлый шаг. Я открыл глаза и увидел, как слуга подкладывает дрова в печь.

– Сон! – вымолвил я. – Сон! – Но всё ещё сомневался...

Протерев глаза, пробую заново составить разбитую на осколки картину.

Огонь в печи разгорается. Ещё не рассвело. Красные лучи из печи прыгают по моей постели.

Долго я не вставал. Металось у меня в мозгу бог знает что. Больше всего думал я о доме и о матери.

Когда я встал и умылся, уже ощущал себя свежим. Было мне грустно свой сон вспоминать, но было мне и спокойно на душе оттого, что всё это только сон. По крайней мере, теперь буду ещё сильнее беречься яви. Это мне какое-то предупреждение было, а, может, напоминание – чтоб о долге своём помнил.

Побратим, прости меня, что я тебя мучил ещё и этими безумными картинами. Я знаю, что ты всё это поймёшь как отрицание этой краткой немецкой повести. Да и, сказать иначе – какой бы смысл имела столь сентиментальная любовь, если бы в ней хотя бы одного такого ерундового сна не было? Просто проглоти его.

В остальном же, чтобы тебя успокоить, даю тебе слово, что от сего момента всегда буду спать, как убитый и снов смотреть не буду.

Теперь уж, наверное, ты поверишь, что у меня пропала всякая охота к дальнейшим ухаживаниям. Но всё-таки... Эх, брат! Ведь она – бог ты мой, бог ты мой, такая хорошая!..

Ну вот, «большое письмо» готово. Сохрани его. Может, когда-нибудь мы ему вместе весело посмеёмся.

Твой побратим.

ПИСЬМО VII

В Н., 17.VII 187...

Дорогой побратим,

Давно уж я не писал тебе писем без «шёлковых волос», «румяных и бледных щёчек», «маленьких ручек – хоть протягивай в игольное ушко», «потоков слёз и вздохов» (глубоких, как артезианский колодец и длинных, как Трифко-пекарь), «глазах, сияющих как небо» (разумеется, итальянское), то голубых, то чёрных... Впрочем, здесь вру: если я когда и говорил о глазах, то мог только о голубых, потому что у неё они голубые. А ведь ещё были, братец ты мой, «сладкая грусть и грустное веселье», «журчащий ручеёк», «убаюкивающий голос колокола» и т.д., и т.д.

Слава богу, говорю тебе, едва однажды опомнился.

Э, брат, ты сам знаешь, что есть в нашей жизни мгновения, в какие хочешь – не хочешь, а ведёшь себя, как дитя. Так и со мною было. Кто может за себя отвечать в таком состоянии? Ты читал, наверное, как однажды в Баварии лёг на рельсы вол, и поезд, столкнувшись с ним, получил повреждения. А другой раз, опять же, проходил здесь один письмоносец мимо строящегося дома, а железный лом с лесов хлоп! – и точь-в-точь ему по тылке. Никто особо и не убивался (по крайней мере, я не знаю) ни из-за первого, ни из-за второго несчастья.

Юноша! Здесь скрыта глубокая мудрость. Поищи её и найдёшь!

Миновала меня чаша, которая, правда, слаще той, что подносили в Гефсиманском саду. Дьявол меня к ней подталкивал, два-три раза я её хватал было, чтобы хлебнуть, но мой добрый гений держал меня за рыло.

Я охладел. Ты посмеялся сну, который я тебе посылал; вот и я теперь тоже

смеюсь и потираю руки – совсем как жид, когда обманет покупателя, всучив ему старую шляпу за новую.

Охладел я, говорю тебе. На пушечный выстрел к ней не подхожу – так её берегусь, и всё сильнее охлаждаюсь. Скоро, наверное, совсем остыну.

Приятно мне и то, что во всей этой истории была ангажирована моя честь, а я её сохранил и достоин быть твоим побратимом.

А теперь, осторожно её избегая и непрестанно думая, что будет *a la fin de fins*²⁹, перестал я петь песню «Ой, лихие мои думы...». Больше у меня не дрожит лицо и не горит грудь, т.е. не дрожит грудь и не горит лицо – как это лучше сказать?

Расчертил я таблицы для пульса и температуры. Трижды в день выхожу я к ней в столовую: на завтрак, на обед и на ужин. Всегда у меня термометр за пазухой. Как вернусь к себе в комнату, сразу смотрю температуру на термометре, проверяю пульс и в таблицу записываю. Вижу, что лихорадка совсем отпустила, так что не бойся ничего.

Я и работать начал. Открыл книги, которые раньше по году читал. Нашёл в них видимо-невидимо всяких пометок да подчёркнутых строк – до сих пор удивляюсь, что это всё я сам когда-то делал, потому что ничего не могу припомнить.

Стряхнул я пыль со всех моих пробирок и бутылочек, с микроскопа и лампочек. Лягушкам своим меняю воду регулярно – каждый день, и кроликов слуга ежедневно кормит в моём присутствии.

Разобрал я и стол. Много чего в печь побросал. Даже отмыл чернильницу и налил свежих чернил. Писал домой, извинялся по мере сил, что я столь неяршив и необязателен, и клялся чем только мог, что отныне буду аккуратен.

В больницу опять хожу регулярно, и опять профессора обращаются ко мне, когда нужно поставить какой-нибудь сложный диагноз.

Снова регулярно занимаюсь гимнастикой, тридцать шесть фунтов держу на вытянутой руке. Вчера ходил пешком в М., вернулся в 8 вечера и съел пару отбивных.

С новой кухаркой, что появилась у нас двумя днями ранее, я на короткой ноге. Прошлым вечером я ей пообещал, что куплю ей новые туфли – она «потупила глазки и покраснела».

Снова я набрал лотерейных билетов и, как только выиграю, сразу уплачу свой долг жиду Левенхайму.

И так далее. Одним словом: стал я вполне приличный человек.

Сто-о-о-ой, разгильдяй! – кричишь ты. – Ну, а самое важное-то как изменится, как это всё уладится?

Как? Очень просто! Я и права не имел переходить к этому предмету – рад я, что совсем его вычеркнул из памяти. Но что должно – то должно.

Так вот, той ночью и утром, дьявол их заberi, я сам додумался и твёрдо решил, что не достойно меня игратья ею, раз уж не смею думать о женитьбе.

Иду в общую комнату на завтрак. Я серьёзен – дальше некуда, и делаю вид, что ничего между нами и не было. Она, похоже, и сама к таким же мыслям пришла. Когда я вошёл, была она грустна, но, чуть меня видит – меняется. Смея-

лась. Наливала мне кофе. Перелила через край. Я же отпуская скверные остро-
ты и разнузданно смеялся.

Сразу в 8 часов иду в больницу. Лично каждого больного осматриваю. С од-
ним даже препирался о курсе лечения. После купил германову «Физиологию» –
её мне нужно учить для экзамена. Пришёл домой в 2. Ушёл в 3 опять в клинику.
Вечером сидел один, пока все ужинали. А после и вовсе засел читать до 12. Когда
лёг, было мне так приятно и так мирно! Какое-то ощущение исполненного долга
приятно щекотало мне грудь.

Ах, вот дивно! – думаю про себя. – Что меня связывает с ней? Ничем я не
ангажирован. Продолжаю в том же духе! «И отныне братец Мика будет делать
только так!»

Я даже захотел встать с кровати, вытянуть вперёд левую руку, правой уда-
рить себя в грудь, да ещё и ногою топнуть об пол – Dixi!²⁹ Так бы я в полной
мере наслаждался своим непоколебимым решением. С постели я не спрыгнул –
потому, что в комнате у меня холодно, да и обуваться пришлось бы: по крайней
мере, хоть одну ногу да обуть, которой собирался топнуть.

Но решение-то моё ничего не потеряло от своей важности! Хорошо, что и
она меня своим необычным равнодушием вполне поддерживает.

Кто знает – в конце концов, может быть, я сам всё её поведение до сего дня
неверно понимал? Может, я ей столь же безразличен, как старые туфли? Но о
ней больше нет разговора. Она теперь приходит лишь в «приятных воспомина-
ниях».

Оставайся дорог

Твоему побратиму.

ПИСЬМО VIII

В Н., 17.X.187...

О ней нет ничего. Ты, разумеется, не удивляешься, потому что знаешь, что
ничего и не может быть.

Я уже совсем приличный человек и доволен собою.

Только с некоторых пор я в дурном настроении – не знаю, что со мной. Ма-
лейшая мелочь меня так раздражает – в сущего скорпиона превращаюсь.

Вчера хотел отлупить Макса.

Не знаю, рассказывал ли я тебе, что ещё с месяц назад поссорился с ним и
теперь не здороваюсь.

С того времени он несколько раз пытался вызывать меня на ссору, но я укло-
нялся. Боялся стукнуть его нечаянно так, что он больше не поднимется.

Пришёл он на завтрак. Всё лицо пластырями залеплено – смотрите все, был
хлопец на дуэли. Кроме того, был он изрядно под хмельком.

Показался он мне противнее, чем когда-либо, аж плюнуть хотелось. А тут
ещё и Туманов меня подзадоривает, непрестанно шепча: «Вот гадость!»

Я не знаю, знаешь ли ты эти их дуэли. Это какая-то пародия на честь, на ге-
ройство, на открытую грудь перед остриём сабли и на ясный лоб перед быстрой

пистолетной пулею. Делай это дети десяти лет, было бы понятно, а так – гадко.

Они, знаешь, надевают на глаза очки из проволоки, каждую важную артерию на шее и на лице обвязывают шёлковыми тряпицами, правую руку также заматывают шёлком. И сабелька, которой они дуэлируют, не может прорезать этот шёлк. А сабелька эта, так называемая «рапира», остра только до половины, и они рубятся только остриём, и то исключительно по лицу – чтобы потом их геройство было видно миру. Рана, которую эта сабелька может нанести, полностью безобидна, потому что не может повредить ни одной части тела так, чтобы это было опасно для всего организма. Просто залепи пластырем – и назавтра всё заросло.

Есть у них такое время в году, когда все они должны «дуэлировать». Тогда, повода ради, они рьяно цепляются ногами и вызывают друг друга на дуэли.

Макс искашлялся, когда вошёл в комнату. Садится этак небрежно за стол и делает такое важное лицо, словно дрался на поединке с Курсулой³⁰, но в то же время хочет показаться равнодушным, словно его нимало не волнует такая обычная вещь. Словно и забыл, что весь исчиркан, как наша карта Европы фон-Зюдова³¹.

Сидит он и очевидно ждёт, что его кто-нибудь спросит про его подвиги.

Попеску не выдержал первым. Подмигнув мне, обращается к Макс:

– Вы как будто с поля брани, где льётся кровь? – говорит он, поглядывая на меня и Туманова.

Макс хочет оставаться холодным:

– Ха, – говорит он. – Не так уж там и опасно.

– Ну, что вы! Ей-богу, стоять перед голой саблей – тут нужна отвага! – говорит Попеску.

Макс молчал, потом прыснул смехом. Был он очевидно смущён и хотел как-то выйти из замешательства. Начинает смеяться ещё сильнее.

– Ха, ха, ха!

Попеску поглядывает на меня, пожимая плечами.

– *Ce la ne vous concerne pas*³², – говорю я ему. Кроме нас да Туманова, французский немного понимала только Анна.

Макс ещё громче смеётся, напрягая губы, чтобы у него не отлепился пластырь.

Краска заливает Попеску лицо.

– Что вам смешно? – спрашивает он.

Макс схватился за живот. Хоть смех его и был через силу, но он не знал, как остановиться; немного погодя он всё же перестал смеяться и обвёл нас всех глазами:

– Я своему противнику отсёк половину носа, – говорит он и снова хихикает. Из нас никто не засмеялся.

Макс снова подобрался и обращается ко мне этак *avec nonchalance*³³:

– Я хотел вас просить, чтобы утром вы нам перевязали мензуру³⁴, – говорит он.

Я молчу. Туманов глядит то на меня, то на Макса, потом спрашивает у него:

– А что это – мензура?

– Да вот, эти наши раны. Не согласились бы вы на мою просьбу? – снова обращается ко мне. Был он мне ужасно гадо.

– Не согласился бы, – сказал я ему и ощутил, что начинаю дрожать.

– Не согласились бы? А почему? Пожалуйста, простите, я не имею права задавать вам такой вопрос.

Я ничего не отвечаю.

Макса словно какие-то черти подстрекают меня задирать. После небольшой паузы я вижу, как его лицо приобретает какое-то пакостное выражение. Опять он обращается ко мне язвительно:

– Если бы вы согласились на мою просьбу, мы смогли бы выпить то, чем мы платили одному вашему коллеге, который, кстати, не строил из себя исключения из остальных лекарей: ничего не умел.

Меня всего охватывает какой-то озноб. Но за столом сидели и «дамы», а потому я сжал кулаки и сдержался.

Макс свирепеет.

– А почему вы не хотели бы нам перевязать мензуру? – спрашивает он снова, словно по какому-то праву.

Я сперва подул себе на нос, чтобы не прыснуть, но потом опять сдержался и ответил ему, как только мог холодно:

– Потому что на ваших дуэлях присутствие варвара излишне.

Он весь позеленел:

– Вы произнесли слово «варвар» слишком презрительно, для вас это даже как-то неколлегиально.

– О, о! – восклицают оскорблённые Туманов и Попеску.

Старуха встаёт:

– Господа, господа!

У меня словно отнимаются ноги.

Анна украдкой наступает мне под столом на ногу и придавливает изо всех сил.

Во мне всё кипит. Я ничего Максy не ответил. Кажется мне, я и не мог бы ничего проговорить – всякое слово встало бы комом в горле. Я смог бы только кричать – но тогда бы прибежала полиция.

Я поднялся из-за стола и стал у окна. И остальные повставали. Все молчат. Старуха испуганно выходит из комнаты, унося в руке миску; и Анна идёт за нею следом.

– Николай Ивановичь, – говорю я Туманову, – пожалуйста, подите вонъ и не пускайте никого изъ дамъ в комнату.

– Только, пожалуйста, колотите какъ слѣдуѣтъ.

Остались мы в комнате только мужчины. И Макс идёт к двери. Я его догнал, когда он уже взялся за ручку. Хватаю его за руку и выволакиваю на середину комнаты.

– Куда собрался, ты?! – говорю ему.

Он глядит на меня как-то придурковато. Слишком неожиданным для него оказался такой вот привет.

Подходит лейтенант и встаёт между нами:

– Господа, прошу вас, господа!

Макс чувствует себя посрамлённым. Выпячивает грудь, и тем обычным тоном и словами, которыми они друг друга вызывают на дуэль, начинает:

– Если вы, на ваш взгляд, хотите удовлетворения, то я в вашем распоряжении. Только не по-сербски, не по-варварски... – говорит он, думая, наверно, что меня таким образом пристыдит и что я его отпущу.

– Да я сам тебя сейчас поставлю себе в распоряжение, – говорю я ему, уже начиная орать.

Он тщетно пытается вырвать руку, которую я ему так сдавил, что даже слегка завернул. Другой рукой упирается мне в грудь.

– Сейчас, – говорю я ему, – я тебе покажу, с кем ты надумал шутить, – и ещё крепче его сдавливаю, глядя ему в глаза.

Лейтенант хватается нас обоих за руки. Попеску, скрестив руки на груди, прислонился к стене. Дон Карлос одиноко стоит в стороне.

Максу всё больше стыдно. Разом собрав все свои силы, он толкает меня, вырывает свою руку и начинает её ощупывать.

– Serbe³⁵! – говорит он язвительно. Вот тут я его взял за грудки да и приложил хорошенько об стену.

Он опускает руки и глядит на меня как-то глупо и испуганно. А я за себя уже не отвечаю.

– Лежать! – рявкнул я.

Он на меня только перепуганно глядит.

– Лежать, сука! – я срываюсь на визг и тяну его за руку.

Он сползает по стене вниз на дощатый пол. Тут с плачем вбегает старуха.

– Ради бога! – всхлипывает она и хватается меня за руки.

Анна испуганно подсматривает через приоткрытую дверь.

Я отступаю от своей «жертвы». Кланяюсь на все стороны, как акробаты, когда начинают *salto mortale*³⁶, и молча выхожу из комнаты.

Сразу за мной выбежал и Макс: с него капал пот, он запнулся о стул и чуть не повалился на Анну, а она взвизгнула и убежала.

Это мне Туманов рассказал, когда они с Попеску потом пришли ко мне порадоваться исходу этого «сражения», тогда как Дон Карлос оставался в столовой с лейтенантом.

Однако минут через пять эта пара снова воротилась в столовую – пить кофе. Я им сказал, чтобы меня не ждали. Туманов мне после рассказывал, как он взял газету и притворился, что не слушает, как лейтенант говорит с Дон-Карлосом об этой афере.

– Barbarisch³⁷! – говорил лейтенант.

– Barbarisch! – соглашался Дон Карлос.

– Кулаками! – говорил лейтенант, закатив глаза.

– Почему не на рапире? – недоумённо спрашивал Дон Карлос.

Тогда и Туманов встрял в разговор:

– А почему именно на рапире? – спросил Туманов.

– Потому что этого довольно для удовлетворения чести: ведь потечёт кровь, – отвечает лейтенант.

– Ну, тогда дуэлянтам много проще будет поставить себе пивки, – сказал Туманов.

Анна рассмеялась и почти совсем успокоилась. Лейтенант ничего не ответил, только бровями дёрнул. После Попеску сел за пианино и сыграл Krönungsmarsch из Prophet-a³⁸.

Когда я вечером возвращался домой, встретил на лестнице Макса – он шёл вниз, а за ним носильщик нёс его вещи. Макс прошёл мимо меня, глядя себе на ботинки.

Уже три дня, как всё это случилось. С той поры все молчали за столом, никто не говорил ни слова. Только с прошлого вечера опять начали понемногу беседовать. Я спокоен. Афера с Максом не произвела на меня никакого впечатления, она лишь помогла мне молчать, да с Анной ни слова не говорить, кроме обычных приветов.

Хоть бы так всё и оставалось!

А с чего бы и не оставаться? Просто не нужно о ней и думать, а это дело лёгкое.

Твой побратим.

ПИСЬМО IX

В Н., 14.XII 187..

Дорогой побратим!

Это было так.

Она была весела, как я тебе уже сказал.

Между тем я заметил, что, когда она одна – напротив, всегда серьёзна и задумчива. Заметил я это по тому, что, как только я входил в комнату, она вздрагивала, словно ото сна, и потом бывала весела. А второе: даже и Туманову бросилось в глаза, что, когда меня нет в комнате, она вечно молчит, а чуть я войду – опять неестественно разговорчива.

Меня это начинает волновать и не даёт покоя. Что это с ней?

Однажды, когда её не было дома, обыскал я её стол, за которым работает. Извлекаю одну шкатулку и на дне её нахожу кусочек белого шёлка, на котором золотом вышиты три заглавные буквы моего имени. «М» было совсем готово, «Г» – до половины, а второе «М» ещё только намечено карандашом. Этот кусок шёлка был смят, и то карандашное «М» размазано.

Достаю этот кусок шёлка и прячу его в карман. С полудня до вечера думал я о нём.

Было ясно, что начала она эту работу давно; и было ясно, что бросила, не желая завершать.

B. H., 187...

Cal me but love, I'll be new baptiz'd...

.....
My name is hateful to myself

Because it is an enemy to thee:

Had I it written, I would tear the word.³⁹

Дорогой побратим!

Во всяком случае, ты не ожидал моего письма так быстро, да и не мог ожидать. Можешь ты представить себе моё положение: я в открытом море, на одной доске – и я тону, погибая в страшной буре.

Что делать? Зачем тебе лгать? – я её люблю! Да ты и сам это знал – не держал же ты меня за какого-то вертопраха, который ухаживает за девушками, только чтобы их обманывать?

Как я первый раз её поцеловал, так первые недели ни о чём не думал. Заглушал всякий голос совести и помышлял лишь о своём доме, ну и о нас с нею в том доме. Да, даже если б я и хотел подумать о выходе – не мог. Слишком я был счастлив для того, чтобы какая-нибудь чёрная мысль во мне настолько обнаглела, что смогла бы разрушить этот сладкий сон горькою явью.

Вечно я был с нею. Стоит старухе уйти в город – на рынок или ещё куда, как она приходит в мою комнату. Приводит в порядок книги, пробует сдвинуть мои гири для гимнастики и дивится моей силе, а после балуется со мной да ластится – я сижу на канаве, смотрю на неё и таю.

С каждым днём увязал я всё глубже и глубже. Уже, даже когда говорил что-либо о себе, всегда говорил «мы». Она смотрела только на меня, целовала меня – жила счастливо. С тех пор, как только мы стали гулять, всегда гуляли в лесу: оба мы ненавидели свет, а там нам никто не мешал.

Как-то вечером гуляем опять вместе. Говорили мы по-французски.

Проходят мимо нас два прусских сержанта.

Когда они были в нескольких шагах от нас, один обернулся и с издёвкой говорит:

– Гранд натьонг⁴⁰!

Я резко повернулся, чтобы его рассмотреть. Она же, держа меня под руку, потянула вперёд.

– Как ты сразу обозлился, – говорит она, ластясь ко мне.

Я равнодушно тряхнул головой.

– Миша, – говорит она испуганно. – Ты не любишь немцев.

Я немного смутился:

– Что тебе сказать?.. Да! Я их не люблю. Но ты ведь мне сама рассказывала, что твой дед был поляк.

– Отец, мать, братья, сёстры – все они немцы, – говорит она как-то жалостливо.

– Ты моя, – сказал я. – Ну, что с тобой?

Она прильнула ко мне.

Мы шли дальше. Мне было необычно приятно. Был конец марта. Я в тот вечер первый раз вышел в осеннем пальто. Воздух был мягок, в лесу начали распускаться почки.

Мы дошли до озера и сели на скамью.

Квакали лягушки. Серединой озера плыл, оставляя за собой борозду, одинокий лебедь. Было тихо.

У меня звенело в ушах. Я прилёг, положив голову ей на колени. Смотрел в небо и слушал кваканье лягушек.

Было мне необыкновенно хорошо. Время от времени она целовала меня в лоб.

Я достаю кiset и говорю ей по-сербски:

– Набей мне сигарку!

Она сообразила, что это значит: *drehe mir eine Cigarette!*

Кое-как свернув сигарку, она протянула её мне.

– Видишь, как я тебя поняла, – говорит она, радуясь.

– Анна, а хочешь, я обучу тебя сербскому?

Её лицо просветлело. словно какое-то бескрайнее счастье собралось вокруг её глаз и губ. Вместо ответа снова принялась меня целовать.

Когда мы возвращались, я по пути давал ей первый урок сербского. Объяснил ей глаголы совершенного и несовершенного вида. Научил несколькими словам и предложениям. После её спрашивал – она радовалась, как малое дитя.

Когда мы пришли домой, было время ужина. После ужина я ухожу в свою комнату. Ощущаю какую-то приятную усталость. Вижу, что мне не принесли лампу – уж не знаю, почему. Тогда зажигаю свечу и ставлю её на стол. Затем открываю окно, и чистый воздух врывается в комнату. Я расстегнул жилет и рубашку, прилёг на канапе. Все мысли мои приятно сливались в одну. Непрестанно была она со мной – весёлая, словно горлица.

Я попытался дать себе отчёт обо всём этом – и никак не мог сосредоточиться. Картинки пролетали перед глазами совершенно беспорядочно, ни на одной я не мог задержать внимание. Несколько раз повторял я сам себе слово «женитьба», но ни мыслей, ни действий – ничего не мог с ним связать.

Так я уснул, хотя ещё и девяти часов не было. Ничего во сне не видел. Что-то мне давило грудь, а в ушах звенело, будто я оглох.

Когда я снова открыл глаза, была глубокая ночь. Свеча совсем догорела – даже бумага, в которую она была обёрнута в подсвечнике, уже затлела, испуская густой дым вперемешку с тусклым светом. Дым уже поднялся к потолочной балке – было так тихо, что только потолок и мешал его пути к небу.

Этот дым меня и разбудил. Я, всё ещё сонный, схватил стакан воды и плеснул на подсвечник. Потом встал отворить и второе окно, чтобы дым выветрился. Долго я стоял у окна и смотрел в сад.

Я был мятежен, а в саду было тихо. Где-то вдали гудел паровоз.

Меня в один миг охватила какая-то неясная, непонятная печаль. Но мне казалось, что у неё должна быть какая-то причина, и я начал вспоминать. Пока

вспоминал, вдруг опять встал её образ у меня перед глазами. Я содрогнулся и почувствовал, как воздух холодит мне грудь.

Не знаю почему, но я боялся дальше думать о ней. Хотелось только зажечь свечу, раздеться и лечь в постель.

Я поискал спички на столе. Стол был весь мокрый от воды, которую я плеснул на подсвечник. Спички размокли, и ни одна не желала загораться. Тогда я вспомнил, что в новом пальто у меня есть коробок спичек. Нахожу его и, зажигая спички одну за одной, ищу новую свечу.

Подсвечник был раскалён и весь обрызган. Тогда я воткнул свечу в песочницу от чернильницы и поставил её на мокрый стол.

Комната моя вдруг показалась мне такой печальной, что тебе и описать не сумею. Я привык, что у меня всегда ровно и ярко горит лампа, а свеча сейчас мерцала и светила так слабо, что я и предметов-то в комнате толком не различал.

С мокрого стола на пол капала вода с крошками табака и пеплом от сигарок, который я стряхивал на подсвечник. Я убирал со стола книги, картонные корки которых уже размокли и пузырились, когда заметил на столе письмо. Увидев, что письмо от сестры, я вскрыл его.

Ты знаешь, как пишут сёстры. Во всём письме был только я. Она писала, как они меня вспоминают, как дети непрерывно спрашивают, когда же я приеду, как они все меня заждались и как им кажется, что уже не доживут до того счастливого мгновенья, когда я всё закончу и вернусь к ним, чтобы больше их не оставить.

У меня ещё сильнее перехватило горло. Я закрыл окна и стал ходить по комнате. Потом опять читал письмо и снова ходил по комнате.

Показалось мне, что я готовлюсь к какой-то битве, и что для этого нужна храбрость. Начинаю собираться с силами. Скрестив руки, смотрю на чернильницу с воткнутой в неё свечой и, будто подзадоривая кого-то, спрашиваю самого себя: «Ну, хорошо – что с тобой?»

Показалось мне, что в груди моей совершеннейшая пустота и что слышу я голос своей совести, который меня спрашивает: «Ну, что ты строишь из себя?»

Сирота Анна! Я так схватился рукою за грудь, будто хотел отщипнуть кусок своего мяса.

Письмо сестры перенесло меня туда, откуда Анны не видно!

Я начал отчаиваться – что мне делать?

Она отрекается от своего имени, от народности, от языка! И всё это только ради меня. Она твёрдо верит, что я на ней женюсь. А я?

Я всё меньше понимал – то ли я с нею прощаюсь, то ли опять готов искать её, чтобы заключить в объятия и не оставлять до самой смерти. Тогда снова передо мною встали моя мать, письмо сестры, и та, совершенно другая жизнь.

Мне захотелось кричать – что мне делать?

Сам не зная, что делаю, я достал платок и начал вытирать влажный стол. Потом сажусь за него, подперев ладонью щеку.

Идея! – наконец сказал я себе обрадованно. – Напишу-ка я сестре и брату, надо их прозондировать и посмотреть, что они мне примерно скажут.

Пишу я им письмо – даже не помню толком содержания. Знаю лишь, что начиналось оно с моего сна, и в том сне я им приблизительно обрисовал, как полюбил я немку: она не красива, сущая сирота и ей уже двадцать четыре года. Спрашивал их, будто в шутку, что бы они делали, если б я женился на ней, что бы на всё это сказала наша мать и т.д. и т.д. Письмо было написано полушутя-полуискренне, или, лучше сказать, так, чтобы я всегда мог вывернуться и заявить, что всё это шутка и я просто хотел их немного попугать.

Написав, сворачиваю письмо и запечатываю. Ложусь в кровать, но никак не засыпаю. Я ворочался, мучился, словно сам с собою счёты сводил. Не выдержав, сказал: «Ну, хорошо. Завтра же скажу ей, что не могу взять её в жёны. Дело сделано. Давай-ка спать». Но тут же в дверцу клетки, в которой эта мысль была, казалось бы, надёжно закрыта, постучалась другая: «А если они мне что-то доброе ответят?..» Эх, не стоило того и думать.

Всё было напрасно – уснуть я не мог. Тогда я начал сердиться: господи помилуй, думал я, ведь должен я однажды это совершить!

Напрасно – я не мог, никак не мог заснуть с мыслью, что её оставлю, а для приятных мечтаний никакой опоры не имел. После долгих мучений соскакиваю с кровати, хватаю письмо. «Кто знает?..» – думалось мне. Одеваюсь и выхожу в город. Всё было тихо. Дохожу до первого почтового ящика и бросаю в него письмо. – «Кто знает?»

Боже, почему так сладко вручать свою судьбу в чужие руки?

Запихав в ящик письмо, возвращаюсь домой. Мимо меня проходят двое пьяных. Один, гримасничая, толкает меня локтем. И что? Я не набросился на него, не требовал никакого «удовлетворения», как обязательно бы в другой раз сделал (все вы меня зовёте задирой). Я молчал и шёл себе дальше. Я и не думал, что он как-то нарочно толкнул меня локтем. Меня занимала лишь одна неясная мысль: «Вот, бросил я письмо – кто знает?..»

Когда я опять лёг в постель, было мне намного легче, уж и не знаю почему.

Явлений её образа я больше не боялся. Вспоминал о прогулке с нею. Не выходило у меня из головы, как она оставляет своё имя, язык, веру – делает всё, что хочу, на всё отвечая: «Как ты скажешь!»

Охватывает меня сон и опять картинки перемешиваются. Встают перед глазами сестра и письмо. Часы пробили четыре. Я начал проваливаться в какую-то глубину, слыша всё неразборчивее: «Может быть... Кто знает?..»

Несмотря на то, что я этой ночью вроде бы утихомирился, был я с того времени очень неспокоен. С одной стороны, было мне не по себе, что я отправил это письмо – к чему? Думалось мне, что я и так прекрасно знаю, какой получу ответ. С другой стороны, опять мне казалось, что всё будет хорошо.

Так я и с ней вёл себя последние дни. То я её сторонился и бежал от неё; то опять искал её, болтал с нею, куда-то ходил; целовал её, как цыганка ребёнка.

Ну, зачем я тебе всё это рассказываю? Ты и сам можешь представить, что делают двое «влюблённых». То поссоришься, то помиришься и ну опять чмокаться и т.д.

Ну, тебе уже стало противно.

Лучше пойду дальше.

Было это как-то вечером, в воскресенье – то ли в первое, то ли во второе после моего письма. Никого не было дома, кроме нас двоих.

Всю вторую половину дня я сидел и читал. Перед самым вечером встаю, открываю окно и смотрю в сад. Внизу привратник перекапывал киркой чёрную землю, ещё испускавшую тот влажный весенний запах – он обустроивал садовые тропинки. Погода была дивная.

Не стоит тебе и говорить, что думал я о себе и о ней. Недоумевал, что всё ещё нет письма, и побаивался как-то. И не смел даже себе самому дать отчёта о своём сегодняшнем к ней отношении.

Почувствовал, что кто-то прислонился к двери у меня за спиной. Обернулся и увидел её.

– А, глянь-ка, кто пришёл! – сказал я весело.

– Нет никого в доме, мне одной страшно.

– А ты садись у меня.

Я взял её за руку. Довёл её до канапе. Сел сам и предложил ей сесть ко мне на колени.

Она постеснялась немного, но после села.

Я её ласкал, а она испуганно сидела у меня на коленях. Несколько раз пыталась встать, но я ей не позволил. Она отворачивается от меня:

– Миша, что мы делаем?

– Ничего дурного, дитя моё.

– Миша, – говорит она стыдливо, – что бы твоя мать...

Меня как пресекло.

– Молчи, – сказал ей.

Может быть, я выглядел слишком серьёзным. Она потихоньку поднимается и под каким-то предлогом выходит. Я тоже встаю и ухожу гулять.

Теперь мне всё ясно, – сказал я себе. Больше ни минуты я не должен ей лгать. Да и письмо, наверное, вот-вот придёт.

ПИСЬМО XI

Побратим!

Получил я письма – и от тебя, и из дому. Оба почти одинаковые, только из дому – всё такое запутанное да завитое, а от тебя – ясное и членораздельное. Значит, и ты туда же!.. Ну, хорошо – я не стану убиваться. Или я трус, или ты слишком умён. Я согласен и искренне нахожу, что всё в твоём письме умно и разложено по полочкам. Ты юрист, я медик – что нам станет разбить одно сердце? – это нам прямой резон! Мы современные люди, даже уважаемые. Раз не подкарауливаем на дороге богатых путников и возвращаем деньги, что занимаем под облигации – значит, мы порядочные! Что нам добродетель? – хватит и обязанности. А, сказать по правде – ну чем я обязан? В мире люди и обручаются, и расходятся – и никто от того не убивается. А вообще – не могу я сказать словами то, что должно чувствоваться. Пусть о том печалятся великие люди – а я не хочу быть великим. Хочу покоя, хочу свободы, хочу тратить без счёта и

без удовольствия. Как тот наследник, что сегодня за одну-единственную карту прогуливает имение, не задумываясь, что завтра дойдёт до нищенского посоха. Так вот и я все свои чувства как по обочине рассыпал: не нужны они мне больше – ни для себя, ни для тебя, ни для дома. Я твёрдо решил порвать с ней. Ты же сам говоришь, что я это должен сделать – ради себя, ради неё, ради тебя, ради дома... Ну, хорошо – пусть так. И даже не смей думать, что у меня на то не хватит куражу – боже мой! Это же будет доброе дело! Ох, да знай моя мать, на какое великое дело я готовлюсь – она бы богу молилась, чтобы дал мне сил. А ведь – что ей сделала сирота Анна, в самом-то деле? А что сам я, опять же, сделал Анне и чего я так боюсь? Я вижу, да и ты видишь, что я не буду с ней счастлив – это ведь чистый расчёт. Зачем же биться, зачем терзать своё сердце? Все доводы за, и лишь одно легкомысленное сердце против. Так к чёрту сердце!

Но, прошу тебя, просто подумай: что меня с ней связывает? Разве есть парень на свете, у кого в жизни не было бы такой же вот «любви», итогом которой были только «лук да вода»⁴¹? Вот и я сам всего лишь обычный человек, довольно уже вкусивший от той сладости, которую безнаказанно воспевают поэты всех времён и народов. Ну, разве я один такой, кто чуть было не влетел в этот страшный хомут необдуманной женитьбы? Ай! Сей же час иду к ней. Скажу ей... я уже знаю, что мне ей сказать.

Твой.

ПИСЬМО XII

Лейпциг

Ты уже по почтовому штемпелю понял, что я оставил место моего... моей... моих... как это сказать? – моих страданий. Всё, свершилось – я свободен. Свободен, как птица, у которой спалили гнездо и подавили птенцов. Цепи мои скинуты, но руки мои параличом разбиты.

Не могу по порядку, да и не знаю, как это всё было. Знаю только, что был я холоден, как дипломат, что начал с «барышня», что многократно поминал «глубинные причины», и что я «не смею думать только о себе», «не могу делать её несчастной»... Далее поминались «моя непостоянная природа», «семейные обязанности», «сердце моё знает, каково мне, но...» и т.д., и т.д.

А она была бледна, как воротник её сорочки, и смотрела на меня вытаращенными глазами, в которых был какой-то сухой огонь. И вот я, наверное, в десятый раз патетично продекламировал «Анна, посуди сама! Речь ведь не обо мне, не о моём, а о твоём счастье, твоём спокойствии. Скажи только, как думаешь – разве при всём этом наш брак не имел бы когда-то, может быть, печальных последствий... как сказать? Тем не менее, я на всё готов! Просто поразмысли...»

Когда я закончил, она вскочила и оперлась на пианино одними только кончиками пальцев. Голос её был настолько изменившимся, что меня всего пробила дрожь:

– Миша, – говорит она, – это всё так неожиданно, что я не знаю, что тебе сказать. Я не хочу сожаления. Ты... Вы свободны!

После рухнула на стул, ударив локтем по клавишам пианино, и уронила голову на руку.

Струны ёкнули путано и беспорядочно – точь в точь мысли в моей голове. Абажур лампы окрашивал комнату каким-то зелёным свечением. По углам было темно. Из боковой комнаты слышалось глубокое дыхание.

Я стоял, словно осуждённый. «Терпи, злодей, – говорил я себе, – ты ведь заслужил куда большего!»

Где-то минут через пять она поднимает голову и смотрит на меня – этакого беднягу без достоинства, без величия, без мужской гордости. Взгляд её был влажен и холоден, как первый зимний дождь, что незаметно схватывается в лёд. А там, за этим взглядом, зияла какая-то безграничная пустота, где меня уже определённо больше не было. Я видел, что наши отношения перерезаны, как ножом – мне больше не вернуться обратно.

Я подошёл к ней, упал на колени, схватил её холодную руку и прижал к своим губам; опять бормотал что-то несвязное, что-то вроде: «Бог мне свидетель, я никогда никого не любил так, как вас, и никого, пожалуй, уже не буду. Но подумайте! Может быть, эти мои причины ничтожны, а сам я лишь презренная натура, не заслужившая того пламени, которым вы меня осияли. Можете ли простить меня?» Она не отнимала руки.

ПИСЬМО XIII

Сегодня ровно два года, как Анна умерла. Что только с той поры не изменилось! Я и сам стал совсем другим.

Побратим, дай мне выплакаться – в последний раз!

Всё меня оставило. Идеалы и идеи, широкие плечи и узкие туфли, патриотизм, работа – надо всем я насмехаюсь. Год назад купил я себе картуз – так он сейчас так замызган, что ничуть не отстаёт от воротника пальто. Книги мои лежат нетронутыми в том же ящике, в каком я их сюда привёз. Правда, одну – с рецептами, – я достал и постоянно ношу в кармане. Химикалии лежат без какого-либо употребления, разве что мой племянник в них иногда шарится. Йока Чукарова нашла азотную кислоту и теперь ею красит яйца на Пасху. Ножи мои выклянчила моя бабка Мага, теперь чистит ими картошку и порет рыбу. С микроскопом играют дети – разглядывают блох. Все усиливающие системы позабрасывали куда попало – говорят, что на них ничего не видно; как-то я ночью нашёл иммерсион⁴² в калошнице. Фартук для вскрытий подобрал на чердаке Трифун – в него он теперь облачается, когда чистит скребницей лошадей. А из неразрезанных медицинских журналов, которые я когда-то выписывал, дети мастерят змеев и генеральские треуголки.

Я на всё это смотрю.

Каждый день регулярно хожу в Чиюкову механу выпить пива и играю там в преферанс с Йовой-адвокатом и Николой-поручиком.

Дети моей сестры ещё меня искренне любят – не вылезают из моей комнаты. А сестра моя... эх, побратим!

Ты меня призываешь: эй, ну-ка встрепенись, болезный, отряхни эту пыль, подыми ещё раз гордо голову! Я пытался...

Вот сестра отводит меня к портному, выбирает мне платье, прибирает мою комнату, протирает микроскоп, а детей страшит, что отобьёт пальцы любому, кто хоть что-нибудь дядькино возьмёт.

И я созидаю. Кое-как упорядочиваю вещи. Достāju несколько книг и выкладываю на стол. Больным отвожу известное время дня, когда сам дома и т.д. и т.д. А на другой день всё идёт по-старому. Открываю альбом и смотрю на её фотографию, и всё вокруг меня словно в чёрное завернётся.

Как-то раз ищу её фотографию, и нигде не нахожу. Иду к сестре в комнату.

– Сестрица, не ты ли взяла её карточку?

Она, дёрнув головой, прикусила нижнюю губу и глядит на меня вопросительно – не сержусь ли.

– Ну, зачем она тебе, сестрица?

– Подари мне её, – говорит.

– Сестрица, всё тебе подарю, что пожелаешь; и фотографию эту, если хочешь именно её – возьмёшь. Но сейчас – зачем она тебе? Дай мне её, прошу тебя!

Достаёт портрет, что прятала у сердца, и подаёт мне; разрыдавшись, прячет голову у меня на груди:

– Братец, братец!

– Не плачь, сестрица, – сказал ей. Взял фото и вышел вон.

(1879)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. **«Вся су́гта человекская, елика не пребывают по смерти»** – начало одной из погребальных стихир Иоанна Дамаскина: «Всё человеческое, что не остаётся после смерти – ничтожество». Далее в повести все слова и предложения, написанные в оригинале повести на русском языке, в переводе приводятся в написании, соответствующем дореформенной русской орфографии.

2. **«...о моли и лаванде»** – лаванда использовалась как средство от моли.

3. **Haut gout** (франц.) – хороший вкус.

4. **Аман** – возглас заклинания и мольбы: прощенья! милости! пощады! на помощь! (турцизм).

5. **Гота** (нем. Gotha) – город в Германии, расположен в земле Тюрингия.

6. **Genant** (нем., устар.) – неловко, неудобно, неприятно.

7. **Дон Карлос** – герой одноимённой драмы Ф. Шиллера (нем. Don Karlos, Infant von Spanien).

8. **«Naturlich!», «Na-nu!», «Donnerwetter noch einmal!»** (нем.) – «Конечно!», «Да ну!», «Ещё раз чёрт возьми!»

9. **«Kraftige deutsche Natur!»** (нем.) – «Сильная немецкая натура!»

10. **Пара** – мелкая сербская монета, сотая часть динара – денежной единицы Сербии.

11. **«Die Hunde haben noch immer die Jacke nicht voll»** (нем.) – идиоматическое выражение, означающее «Собаки до сих пор не получили хорошую взбучку».

12. **Протопоп Ненадович** – протоиерей Матия (Матфей) Ненадович (родился в 1777 или 1775, умер в 1854), один из наиболее авторитетных предводителей сербских повстанцев, принимал активное участие в формировании сербской государственности. Участвовал в первых сражениях с турками, в осаде Белграда. Осенью 1804 г. был послан в Петербург в составе сербской делегации, которая изложила правительству Александра I свою политическую программу (предоставление сербам полной внутренней автономии при уплате Порте умеренной дани) и просила, чтобы Россия стала гарантом такого статуса Сербии и ее покровительницей. После возвращения на родину занялся подготовкой создания первого государственного органа власти и в 1805 г. стал председателем так называемого Правительствующего совета. Оставил воспоминания, полное издание которых с приложением документов увидело свет в 1867 году. В России «Записки протоиерея Матвея Ненадовича» были опубликованы в журнале «Русская Беседа» в 1859 г.

13. **Aufforderung zum Tanze** (нем.) – приглашение на танец.

14. **Mille pardons!** (франц.) – Тысяча извинений!

15. **«L'histoire d'un paysan – Erckmann-Chatrian»** (франц.) – «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана. Тетралогия Эмиля Эркмана и Александра Шатриана, написанная в 1868-1870 гг., состояла из романов «Генеральные Штаты», «Отечество в опасности», «Первый год республики» и «Гражданин Бонапарт». Написана в форме воспоминаний столетнего крестьянина из Лотарингии Мишеля Бастьена, поступившего волонтером во французскую республиканскую армию и принимавшего участие в подавлении Вандейского восстания и беззакониях якобинцев. Была неимоверно популярна в Европе и в России. Европейские издания были богато иллюстрированы гравюрами известных художников.

16. **Marseillaise** (франц.) – Марсельеза.

17. **Le plus apre lettre** (франц.) – самое резкое письмо.

18. **Resume** (франц.) – резюме.

19. **«Sit venia verbo!»** (лат.) – «Да простится мне это выражение!»; «С позволения сказать!»

20. **Rouleau** (франц.) – здесь: завеса, штора, занавеска.

21. **Tulle anglais** (франц.) – английский тюль.

22. **Parole d'honneur** (франц.) – честное слово.

23. **Eisbahn bei brillanter Beleuchtung** (нем.) – каток при блестящем освещении.

Entrée separee (франц.) – отдельный вход.

24. **Вальево** (Валево) – город в Сербии, расположен на реке Колубара, в 80 км к юго-западу от Белграда.

25. **Гайдук Велько** (Велько Петрович, 1780-1813) – сербский гайдук, воевода, один из лидеров сербского освободительного движения и предводителей Первого сербского восстания против Османской империи.

Атанасий (Танаско) Райич (1754-1815) – сербский воевода и революционер, знаменосец Карагеоргия в Первом сербском восстании.

26. **Баначане** – жители Баната, исторической местности Центральной Европы. Современный Банат разделён между Сербией, Румынией и Венгрией. Сербская часть Баната (провинции Банат, Бачка и Баранья) присоединилась к Сербии после распада Австро-Венгрии в 1918 году.

27. **Механа** – пивная (турцизм).

28. **Тамбураш** – музыкант, играющий на тамбуре. Тамбура – маленький струнный инструмент, напоминающий мандолину.

29. **A la fin de fins** (франц.) – в конце концов.

30. **Dixi!** (лат.) – Я сказал!

31. **Йован Курсула** (1768-1813) – сербский воевода, участник сербской революции. Прославился как мастер фехтования, даже носил саблю не на поясе, как все, а за спиной, «как ему было удобнее её из-за плеча выхватывать».

32. **Эмиль фон Зюд** (1812-1873) – немецкий географ и картограф, преподаватель военной академии в Эрфурте, с 1867 года главный картограф прусского генштаба. Первым предложил цветное решение для физических карт – до него рельеф на карте показывался исключительно штриховкой. Автор «Школьного атласа», выдержавшего 28 изданий.

33. **Ce la ne vous concerne pas** (франц.) – это вас не касается.

34. **Avec nonchalance** (франц.) – беспечно.

35. **Мензура** – здесь: раны от поединка. Также мензурой назывался и собственно поединок. Название «мензурное фехтование» происходит от латинского «mensura» – «размерность»: с XVI века такие поединки проводились по строгим правилам, на строго установленном допустимом расстоянии между противниками, фактически статично. Мензуры на саблях (шлегерях) между представителями студенческих объединений были широко распространены в Германии, Австрии, Швейцарии, а также в Бельгии, Польше и балтийских регионах.

36. **Serbe!** (нем.) – Серб!

37. **Salto mortale** – акробатический номер (сальто назад), от итал. «смертельный прыжок».

38. **Barbarisch!** (нем.) – Варвары!

39. **Krönungsmarsch из Prophet-a** (нем.) – «Коронация марш» из оперы «Пророк» немецкого и французского композитора Джакомо Мейербера (1791-1864).

40. **Cal me but love, and I'll be new baptiz'd...**

.....
My name is hateful to myself

Because it is an enemy to thee:

Had I it written, I would tear the word. –

строки из «Ромео и Джульетты» В. Шекспира:

Лишь назови меня своей любовью –

И заново я буду окрещен...

.....
То имя мне, как враг твой, ненавистно.

Я б разорвал его, когда б его

Написанным увидел на бумаге.

(перевод Д.Л. Михаловского)

41. **Гранд натъонг** (от франц. une grande nation) – великая нация.

42. «**Лук и вода**» – сербское выражение, означающее «ерунда».

43. **Иммерсион** – здесь: иммерсионный объектив микроскопа. Иммерсией в оптической микроскопии называется введение жидкости между объективом микроскопа и рассматриваемым предметом – для усиления яркости и расширения пределов увеличения изображения. В качестве первой иммерсионной жидкости применялось природное кедровое масло. Считается, что первый серийный микроскоп с рассчитанным объективом масляной иммерсии появился в 1878 году.